

ТРАГЕДИЯ ХРОНИКЕРА

Роман «Бесы» — недоговоренное пророчество

Чувствую свою вину перед теми **отечественными** исследователями, которые писали о «Бесах» в предыдущие годы: многие из них вынуждены были или — вначале — называть его реакционным, художественно неудавшимся, памфлетным, или — потом — указывать на его пророческую мощь, ссылаясь на события в Германии, Китае, Кампучии, Латинской Америке, Италии, где угодно, но только не у нас, или — еще позже — цитируя знаменитое признание Петруши Верховенского («я ведь мошенник, а не социалист» — 10; 324), утверждать опять-таки, что пророчества Достоевского к нам не относятся, ибо разоблачал он стремившихся примазаться к социалистическому движению мошенников...

Между тем, не имея возможности правильно читать и трактовать роман, невозможно было адекватно разрешать и проблемы поэтики. Мы увидим это на примере анализа образа хроникера.

Точность предвидений Достоевского в «Бесах» доходит до деталей: предсказан и срок будущего переворота — 5 месяцев (10; 289) (правда, здесь говорится о времени с мая по октябрь, а не с октября 1917-го по февраль 1918-го, как было в действительности) и тройки Особого совещания (Шатов: «О, у них все смертная казнь и все на предписаниях, на бумагах с печатями, три с половиной человека подписывают» — 10; 193), и громкие процессы «вредителей», призванные оправдать провалы в экономике («Все они, от неумения вести дело, ужасно любят обвинять «в шпионстве» — 10; 194). Еще более 65 лет оставалось до 1937 года, но уже слышен он в «тихих, неспешных шагах» (10; 454) поднимающегося по лестнице Эркеля, пришедшего ночью за Шатовым вести его на место убийства, в самый счастливый миг его жизни. Предсказаны и тайные убийства эмигрировавших

противников сталинского режима (Петруша Верховенский кричит: «не уйдете... от меча... я вас на другом конце шара... повешу как муху... раздавлю..!» — 10; 458, 429), предсказаны чудовищные искажения «социалистами» русской речи.

А вспомните, как после очередного пристаивания Петруши «Ставрогин «вдруг стряс с себя его руку и быстро к нему оборотился, грозно нахмурившись. Петр Степанович поглядел на него, улыбаясь странную, длинную улыбкой. Все продолжалось одно мгновение» (10; 237). Это же Ю. Трифонов, роман «Исчезновение» — это та самая «доброжелательная улыбка» Арсюшки Флоринского, с какой он смотрит на старого революционера Баюкова, готовясь «разработать его по-подробней, вплотную»¹, эта усмешка «бесов» над зачинателями и идеологами движения, еще долго мнившими себя неизмеримо чище и выше, пока «петруши» не показали, разная ли у них в конечном итоге природа и на чьей стороне будет власть. Сами «бесы» тоже неоднократно подтверждали точность угаданного Достоевским — можно напомнить здесь, что эпитафией к своему письму из тюрьмы жене немцаевец П. Успенский выбрал строки из Евангелия: «Господи! Помилуй сына Твоего: он в новолуние беснуется и тяжело страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду»², можно вспомнить признание М. Бакунина: «Сатана — духовный глава всех прошлых, настоящих и будущих революционеров»³; одним из первых псевдонимов Сталина был Бесошвили. Подобных примеров немало.

Но почему этот роман, в котором столь гениально угадано и до мельчайших подробностей разложено по полочкам все то страшное, что имело произойти в России в грядущие десятилетия, оказался почти совсем не понят и по выходе в свет, и еще долгие десятилетия спустя? Рецензенты-современники называли роман «бредом», «белибердой», «клеветой», «фантастическими измышлениями» больного писателя, который сам себя пугает «уродливой карикатурой, кошма-

¹ Трифонов Юрий. Исчезновение. Время и место. Старик. — М.: Современник. 1989. — СС. 53, 54.

² Революционное движение 1860-х годов. Сборник под ред. Б. П. Жозьмина. — М.: Изд-во Всесоюзного общества политкаторжан, 1932. — С. 227.

³ Материалы к биографии М. Бакунина. — Т. III. — С. 398 — цитата приведена А. М. Булановым в его работе «Образ автора в структуре повествования романа Ф. М. Достоевского «Бесы». // Проблемы жанра и стиля в русской литературе. — М.: изд-во МГПИ им. Ленина, 1973. — С. 152.

ром мистических экстазов и психопатией», произведением, в котором окончательно обнаружилось «творческое банкротство автора» (12; 259—266). Н. К. Михайловский писал: «нечаевское дело есть до такой степени во всех отношениях монстр, что не может служить темой для романа с более или менее широким захватом»; в общественном движении нечаевщина «составляет печальное... исключение», «третьестепенный эпизод» (12; 264); И. С. Тургенев же утверждал, что «у Достоевского нападки на революционеров нехороши: он судит о них как-то по внешности, не входя в их настроение» (12; 269). К несчастью для Михайловского и Тургенева, подлинные масштабы «исключения» обнаружались тогда, когда их уже не было в живых и они не могли раскаяться в сказанном. Намного печальнее этих бодрых заявлений звучат слова Достоевского, произнесенные как бы из нашего XX века: «В «Бесах» было множество лиц, за которые меня укоряли как за фантастические, потом же, верите ли, они все оправдались действительностью...» (12; 271).

Но и потом еще долго пророчества автора «Бесов» всерьез и целиком воспринимались лишь немногими, среди остальных же отношение к роману либо как к явлению декаданса, либо как «к памфлету на русское освободительное движение» (12; 273), преобладало. Сколько жертв это стоило России и миру, сейчас трудно и сказать.

Почему так произошло, в чем секрет такой трагической неуслышанности «Бесов», почему столь долго умнейшие люди видели в нем памфлет и гротеск? Почему даже сегодня, когда можно наугад открыть *любую* страницу романа и найти в нашей действительности или в нашей истории реальное воплощение того, о чем говорится именно на этой странице — возникает все же соблазн (не буду про других: у меня возникает) отделить «подлинных революционеров» и их тогдашние цели от героев романа, видеть в Петруше и «наших» лишь *потомков* зачинателей революционного движения, своего рода результат их деятельности — а не их *самих*, их подлинные цели? Только ли не изжитый еще нами романтизм в отношении истоков революционного движения? Раздумывая над этими вопросами, я понял, что ответы на них следует искать, — как это ни странно может показаться на первый взгляд людям, не изучавшим специально повествовательную манеру Достоевского, — в первую очередь через исследование образа хроникера, от лица которого написан роман.

В период упрощенно воспринятой «полифонической» трактовки произведений Достоевского основное внимание уделялось «голосам» героев, порой отождествляемых с автором. Сейчас уже утвердилось понимание того, что в каждом из этих произведений создание сугубо индивидуального образа повествователя было для писателя одной из главных творческих задач. При колоссальной идеологической насыщенности его романов и их пропагандистской, просветительской направленности, в характере лица, ведущего повествование и непосредственно «общающегося» с читателем, должны были быть тончайшим образом соблюдены пропорции, соотношение между идейными и нравственными установками самого автора и теми личностными особенностями мировоззрения и поведения, которые делали бы повествователя вполне независимым от автора субъектом, обеспечивали доверие читателей и помогали Достоевскому убеждать их исподволь, незаметно. На примере хроникера в «Бесах» это видно достаточно наглядно. Но не только это; при дальнейшем анализе обнаруживается и другое: не только в общественно-исторических условиях и «отставании» современников от Достоевского в понимании грозящей опасности — разгадка того, почему так и не услышаны были вовремя пророчества, но и в особенностях мировоззрения и личности самого писателя, отразившихся в облике хроникера и его повествовании.

Можно смело говорить, что трагическая история правильного прочтения романа напрямую связана с историей постижения образа хроникера. Прочитав запись Достоевского из черновиков к «Бесам» — «Пусть потрудятся сами читатели» — Ю. Карякин пишет: «За сто лет со дня выхода романа сами читатели меньше всего потрудились именно над пониманием образа Хроникера (его как бы и вовсе не существовало для них)...»¹. Не рискну говорить о всех читателях — кто знает, как читались «Бесы» на темных необъятных просторах минувших глухих десятилетий в России? Ведь сам Ю. Карякин здесь же признает, что «истории... читателей («обыкновенных» читателей) у нас нет»² —

¹ Карякин Юрий. Достоевский и канун XXI века. — М.: Советский писатель, 1989. — С. 243.

² Разрядкой в приводимых цитатах отмечены слова, выделенные автором цитаты, курсивом — выделяемые мной.

но к критике и литературоведению сказанное относится в полной мере.

Отнюдь не случайной была связь между долголетним искренним, а потом и насильственным непониманием (во втором случае это слово ужно взять в кавычки) пророческих истин романа и столь же долголетним игнорированием значимости образа хроникера. Ведь для того, чтобы оценить хроникера и правильно понять его, необходимо если не солидаризироваться с ним, то по крайней мере понять истинный смысл его деятельности, увидеть его реальных, а не придуманных нами противников, оценить ту опасность, которую видит он. А этого-то очень долго и не было. А потому в избранной Достоевским манере повествования «от хроникера» видели либо ненужную «завитушку», излишний изыск гения (одного из необязательных посредников, «которые своей очевидной ненужностью местами компрометировали даже «Бесов» — писал не кто иной, а столь тонкий и понимающий поэт и критик, как Ин. Анненский)¹, либо хроникера попросту не замечали (о чем свидетельствует известная реплика Горького, относящаяся к 1935 г.: в «Бесах» «критика не заметила одного из главных героев — лицо, которое ведет рассказ»)². Так продолжалось более полувека³. В последующие десятилетия о «Бесах» вообще уже затруднительно было упоминать в нашей стране, а затем, когда к нему постепенно стали допускаться литераторы и критики, роман необходимо было оценивать, тем не менее, как враждебный «нам», а потому художественно неудачный — и в хроникере стали видеть одно из главных свидетельств творческой ущербности «Бесов». Эта тенденция давала себя знать и в серьезных работах. Несомненный вклад в подробный анализ совершенно неизученной тогда повествовательной структуры романов Достоевского (работы В. Виноградова и М. Бахтина посвящены более общим проблемам и такого анализа в них нет) внес О. Зунделович. Но установка на «разоблачение» идейной порочности и художественной несостоятельности «Бесов» привела его в конечном итоге к та-

¹ Анненский Иннокентий. Избранные произведения. — Л., «Художественная литература», 1988. — С. 592.

² Горький М. Об издании романа «Бесы». «Правда» от 24.01.1935.

³ С редчайшими исключениями; об одном из них — работе С. Борщевского «Новое лицо в «Бесах» Достоевского», вышедшей в 1918 году, говорит в своей книге Ю. Жарякин (с. 243, 258, 259).

кому определению: «скудоумный хроникер»¹. Более объективной была работа Ф. Евнина, но и этот исследователь называет повествователя в «Бесах» «недалеким обывателем-хроникером»². Методологическим недостатком этих и многих других работ того времени являлось разделение повествования хроникера на речь автора и речь повествователя, а то еще и речь рассказчика.

Затем пришла пора и появилась возможность иных исследований, из которых выделяются в первую очередь известные работы Н. М. Чиркова «О стиле Достоевского» (М., 1963), Д. Лихачева «Летописное время» у Достоевского³, В. Туниманова «Рассказчик в «Бесах» Достоевского»⁴ и Ю. Карякина «Зачем хроникер в «Бесах»?»⁵.

Отдавая должное высокому научному уровню этих исследований, нельзя не отметить, что появилась, наконец, возможность открыто солидаризироваться с главной направленностью деятельности хроникера, понять и признать его разоблачение «бесов» — пусть тогда еще как «социалистов», а как «мошенников» — нечаевцев. В результате работы этих и ряда других исследователей⁶ была по существу заложена основа для верного понимания повествовательного строя романа; я полагаю, однако, что фигура хроникера в «Бесах» хранит еще много тайн — разгадка их поможет лучше понять и роман.

Стоит нам чуть более внимательно присмотреться к хроникеру как к реальному лицу — сразу сталкиваемся с целым рядом загадок — или, вернее, загадочных несогласованностей.

Хроникер то строит свое повествование на догадках и слухах, демонстрирует неспособность понять мотивы поведе-

¹ Зунделович Я. Романы Достоевского. — Ташкент, 1963. — СС. 112—113.

² Евнин Ф. Роман «Бесы». // Творчество Ф. М. Достоевского. — М.: Наука, 1959. — С. 262.

³ В книге: Лихачев Д. Поэтика древнерусской литературы. Изд. 3-е, дополненное. — М.: Наука, 1979. — СС. 305—318.

⁴ В книге: Исследования по поэтике и стилистике. — Л.: Наука, 1972. — СС. 87—162.

⁵ В книге: Карякин Ю. Достоевский и канун XXI века. — СС. 243—318.

⁶ Отмечу здесь еще упомянутую содержательную работу Буланова А. «Образ автора в структуре повествования романа Ф. М. Достоевского «Бесы». // Проблемы жанра и стиля в русской литературе. — М.: изд-во МГПИ им. Ленина, 1973. — СС. 132—153.

ния окружающих людей и свою провинциальную ограниченность, а то вдруг обнаруживает поразительно глубокое знание людской психологии, истории, осведомленность в политических и литературных процессах (вплоть до новейшей эмигрантской литературы, сочинений Герцена). (Я уж не говорю о том, что Степан Трофимович свободно разговаривает с ним по-французски; правда, хроникер отвечает ему только по-русски). Ну и, наконец, третье: есть множество сцен, при которых хроникер не присутствовал, но которые он подробнейшим образом передает. В. Тухиманов пишет: сцены, в которых хроникер не участвует, или основаны на данных, полученных хроникером от других, или сочинены им, или представляют комбинацию фантазии, личного опыта и интерпретации чужих мнений¹. Но если в некоторых случаях еще можно — с большой натяжкой — поверить, что хроникеру кто-то рассказал о тех или иных событиях впоследствии, то ведь есть сцены, о которых просто физически некому было рассказать: например, последние беседы Шатова с Marie — Шатов сразу же после этого убит, Marie умерла; или сцена самоубийства Кириллова. Трудней всего это отнести к несогласованности — ведь в тщательно «рассчитанных» до мелочей текстах романов Достоевского случайностей практически нет (см., к примеру, предпринятый Л. И. Сараскиной анализ повествовательного времени в романе «Бесы»)². Но тем не менее долгое время именно несогласованность и видели тут исследователи, указывая на смешение двух «голосов» — автора и повествователя. Затем, на следующем этапе, пытались вообще на это внимания не обращать, удовлетворяясь достаточно туманным объяснением самого Достоевского (причем так и оставшимся в черновиках!) — за хроникера: «Вообще, если я описываю разговоры даже сам-друг — не обращайтесь внимания: или я имею твердые данные, или, пожалуй, сочиняю сам — но знайте, что все верно. Систему же я принял Хроники» (11; 92).

В двух крупнейших романах Достоевского, написанных до «Бесов» — «Преступление и наказание» и «Идиот» — повествование ведет безличный всеведущий повествователь, который по ходу действия надевает на себя «маску» недалекого дюжинного обывателя, представителя «средины». Сочетание

¹ Исследования по поэтике и стилистике. — С. 135.

² Сараскина Л. «Бесы»: роман-предупреждение. — М.: Советский писатель, 1990.

мнений и оценок повествователя в своем обычном облике и в «маске» активизирует восприятие читателя и в то же время позволяет не декларативно, а как бы изнутри, исподволь, утвердить авторскую оценку — не посягая напрямую на свободу читателя¹.

Но в «Бесах» — романе несравненно более тенденциозном — Достоевскому важно было внешне максимально отдалить повествователя от себя. Поэтому впервые в роли повествователя появляется реальное, участвующее в действии лицо — хроникер. Хроникер предстает перед читателем то в своем истинном облике провинциального мыслителя, имеющего вполне определенные задачи при создании данного труда (как он сам признается в конце, сообщая при этом, кстати, что прямо указывающие на «бесов» знаменитые эпиграфы отобраны именно им, хроникером), то в применяемой им в определенных целях маске мало что понимающего и мало знающего, вынужденного опираться на слухи и толки обывателя; порой же, в редких, особых случаях обнаруживает свои способности, благодаря сильнейшей концентрации и интуиции, посредством некоторых озарений, видеть сцены, происходящие на далеком расстоянии от него (это касается в основном сцен с участием Ставрогина). Здесь меня, возможно, упрекнут в мистике. Могу ответить лишь, что именно таким видится мне цельный облик субъекта повествования в «Бесах», что в этом романе ясновидение играет чрезвычайно важную роль, что иначе я не могу объяснить себе сочетания последних фраз той важнейшей записи: «...или, пожалуйста, сочиняю сам — но знайте, что все верно. Систему же я принял Хроники». Не могу иначе объяснить и так называемые «несогласованности» повествования — иной раз чрезвычайно явные, как бы провоцирующие: скажем, когда Ставрогин впервые входит в комнату Марьи Тимофеевны, хроникер, который совсем недавно был уже у Лебядкиной (на другой квартире в этом городе), ведет повествование так: «в углу, как и в *прежней* квартире, помещался образ, с зажженной перед ним лампадкой, а на столе разложены *все те же* необходимые вещицы: колода карт, зеркальце, песенник, даже сдобная булочка» (10; 214) (т. е. хроникер, не скрываясь, как бы рядом со Ставрогиным).

¹ Об этом я подробно писал в своих работах «К истории повествовательных форм...» // Контекст. 1985. — М.: Наука, 1986 и «Формирование повествовательной манеры (Ф. М. Достоевский в работе над романом «Идиот» // Динамическая поэтика. — М.: Наука, 1990.

Такие вдумчивые исследователи, как В. Туниманов и Ю. Карякин, отмечают (не акцентируя на том внимания и не вдаваясь в подробные объяснения): «остается ощущение, что он (хроникер. — К. С.) знает и понимает больше, чем говорит. Есть тайна и в нем самом, есть как бы содержательная недосказанность»¹, обнаруживается «недоговоренность хроникера», особенно в отношении Ставрогина, порой его (хроникера. — К. С.) «видение достигает масштабов сверхъестественных»². Что же касается самой способности подобных озарений, то чтобы не выходить за пределы литературы, вспомним писателя, жившего намного позже и в совсем иной стране: в романе У. Фолкнера «Авессалом, Авессалом...» Квентин Компсон, с помощью колоссального душевного напряжения повествуя о сценах, которым он не только не был свидетелем, но о которых никто в целом мире не мог бы ему рассказать, думает: *«если бы я там был, я бы не мог так ясно все увидеть»*³.

Для чего же понадобился в «Бесах» именно такой повествователь?

Первое и самое главное: он вызывает доверие у читателя. Причем доверие это складывается из ряда компонентов. Биографически, на житейско-бытовом уровне это житель маленького городка, наглядно отделенный от автора, не схожий с ним ни по возрасту, ни по жизненному опыту, ни по принадлежности к какому-либо «направлению», представитель самой что ни на есть провинциальной «глубинки», имеющий право на собственную точку зрения, которую можно не торопиться отождествлять с авторской. Когда хроникер предстает перед читателем в истинном своем облике, мы можем убедиться в его незаурядных способностях: глубоком понимании скрытых движений души человека, в обширных знаниях и опыте, в наблюдательности и тонкой иронии. Но при этом он достаточно наивен (в высшем смысле, как говорил Достоевский): то есть не скрывает от читателя собственных эмоций, черт характера и душевных порывов. Я здесь имею в виду не только то, что он признается, скажем, в своем унижении при первом столкновении с Карамзиновым, не скрывает своих слабостей, не отрицает ошибок. Он не считает нужным также скрывать свое достаточно предвзятое отношение

¹ Карякин Ю. Достоевский и канун XXI века. — С. 260.

² Исследования по поэтике и стилистике. — СС. 138—139.

³ Фолкнер Уильям. Собрание сочинений в шести томах, т. 11. — М.: Художественная литература, 1985. — С. 505.

к Степану Трофимовичу. Все это обеспечивает хроникеру интеллектуальный авторитет у читателя и вместе с тем — веру в его искренность.

Ну а сцены, в которых хроникер, как я полагаю, ведет повествование уже одной только силой интуиции, доказывают даже его конгениальность Ставрогину. Ставрогин в конечном счете соприроден хроникеру, он в некотором роде его двойник.

Зададимся вопросом: как прочитывался бы роман без хроникера? Уже отмечалось, что «Бесы» пронизаны мощной внутренней полемикой с романом Чернышевского «Что делать?»¹. Но рискну утверждать: если бы повествование у Достоевского велось не хроникером, а каким-либо иным — пусть даже не сочувствующим «бесам», а просто ничего непонимающим, «нейтральным» — рассказчиком, роман мог бы прочитываться, если и не как второе «Что делать?», то, во всяком случае, не как разоблачение «бесов».

Понимаю, что такое утверждение может показаться неубедительным, рассчитанным на внешний эффект. Попробую доказать его; тогда быть может, яснее станет роль хроникера в романе¹.

Вспомним Белинского: «Да и что кровь тысячей в сравне-

¹ См.: Лотман Л. М. «Реализм русской литературы 60-х годов XIX века». — Л.: Наука, 1974. — СС. 244—245; здесь же указаны работы В. С. Дороватовской-Любимовой и Д. Л. Соркиной, специально исследовавших эти связи.

¹ Интересно, что первоначально роман «Бесы» планировался как прямая контроверза роману о тех «новых людях» — Рахметовых, Лопухиных и Кирсановых, противопоставление им настоящих «новых людей»: «Главная идея (то есть пафос романа) — записывал Достоевский — это Князь и Воспитанница (т. е. Дарья — К. С.) — новые люди, выдержавшие искушение и решающие начать новую обновленную жизнь» (11; 98). Вспомним и такую беседу Липутина с Петрушей Верховенским (опять же из подготовительных тетрадей): в ответ на проповедь «шигалевщины» и всеобщего «усредненного равенства» Липутин возражает: «Не то написано в романе «Что делать?», не такая картина представлена. Там есть даже залы из алюминия и концерты, перед которыми Бетховен — букашка. — Нечаев: «Не читал романа. Сочинитель еще не дошел до главной точки. Если бы сам пожил, то кончил бы тем, что дошел, и не было бы концертов. Лютер отверг авторитет и основал церковь свободную. Но он, конечно, не предполагал, что его религия, развиваясь органически, придет к самоотрицанию, т. е. к отрицанию всякой религии. Так точно и тут. Да если б даже и всеобщие средства были из алюминия, то нарочно по принципу надо отвергнуть их, чтоб никакого алюминия, никаких колонн, никакого искусства, никакой музыки не было, ибо все это развращает. Необходимо лишь необходимое» (11; 270—271).

нии со страданиями миллионов». И разве же не такая аргументация действительно применялась всю вторую половину XIX века и первую половину XX века в нашей стране для оправдания революций, массовых кровопусканий, экономических «рывков», массовых народных жертв? С успехом применялась¹. Если *сейчас* роман «Что делать?» читается как «Бесы» (поскольку, зная, чем обернулись «благие начинания» Рахметовых, Кирсановых и Лопуховых, мы ясно видим в этих «начинаниях» их дьявольскую, в конечном итоге, основу), то почему бы «Бесы» — без хроникера — не могли бы *тогда* быть прочитаны как «Что делать»?²? Кто знает, не соблазнились бы некоторые?

Соблазниться не дает хроникер.

В отличие от романов «Преступление и наказание» и «Идиот», где персонажи в основном сами представляют друг друга — здесь почти всех действующих лиц вводит хроникер. При этом бесовскую природу он разоблачает сразу же и достаточно недвусмысленно. Классическим примером уже стала характеристика, данная им Петруше при первом появлении того в романе: «Голова его удлинена к затылку и как бы сплюснута с боков, так что лицо его кажется острым... носик маленький и остренький, губы длинные и тонкие... Вам как-то начинает представляться, что язык у него во рту, должно быть, какой-нибудь особенной формы, какой-нибудь необыкновенно длинный и тонкий, ужасно красный и с чрезвычайно острым, непрерывно и невольно вертящимся кончиком» (9; 143—144).

Но хроникер вводит и *всех* других «бесов», причем не только вводит их, но и сопровождает их далее по тексту романа, разоблачая их, характеризуя их действия, и как бы определяя и закрепляя характеристические черты, типы тех политических «деятелей», которые будут потом бесчисленное количество раз повторяться в нашей и зарубежной истории. Это и тип Липутина, «невзрачного... губернского чиновничика» (10; 45) шантажиста и сплетника, выдающего себя за либерала и большого атеиста, не гнушающегося для разжигания «революционной смуты» самых подлых средств, но

¹ Заметим еще, что схожую аргументацию использовал несколько лет спустя и сам Достоевский в «Дневнике писателя» для оправдания русско-турецкой войны 1877-78 гг. Подробнее см. об этом в моей книге «Достоевский и язычество (Какие пророчества Достоевского мы не услышали и почему?)». — М., ВПХЛ, Смоленск, 1992.

² Именно так, полагаю, читал роман «Бесы» — игнорируя хроникера — Сталин. Ленин, как известно, романа не читал.

предусмотрительно запасающегося иностранным паспортом. Это и тип Виргинского, «жалкого и чрезвычайно тихого молодого человека», полного «светлых надежд» (10; 28), который вначале «всеми силами души» протестует против «кровавого решения» (10; 421), потом соглашается, коль того требует «общее дело» (10; 421); затем надеется всех переубедить и для этого является на место убийства, но хватает его лишь на то, чтобы в момент убийства спрятаться за чужие спины, «выглядывая оттуда (пишет хроникер. — К. С.) с каким-то особенным и как бы посторонним любопытством», затем «горестно восклицать»: «Это совсем не то!» (10, 461), но, открывшись, наряду с остальными прятать труп. Это и тип Эркеля, молчаливого, ясноглазого юноши-романтика, который, будучи на заре своей жизни придавлен идеей мифического «общего дела», уже не замечает ни радостей, ни мучений живых людей, своих ближних, и который готов простить своему вождю любую — с человеческой точки зрения — подлость, если того опять же требует «общее дело». Я уж не говорю про Шигалева, Лебядкина, Лямшина, «знатока народа» (10; 416) Толкаченко и других «бесов», сцены их собраний — соответствующие хроникерские описания у всех на памяти. При этом хроникер постоянно подчеркивает самую что ни на есть обыкновенность, невзрачность, обыденность своих героев. Ведь «бес» кровавого переустройства жизни распространяясь в мире, вселяется во вполне обычных, «невидных» людей (для этого только надо любить себя — или свою гордыню — превыше всего, не слышать чужую боль) — и самое страшное происходит как раз тогда, когда он вселяется именно в них, в кратчайший срок уничтожив немногие опоры нравственности, делает их основными исполнителями невероятных жестокостей и насильственного переустройства общества¹.

Еще два исконно бесовских признака у всех «наших» — а более всего у Петруши, конечно — не устают подчеркивать хроникер: торопливость, постоянную суету и мельтешение — и смех, хохот, звучащие постоянно, как только появляются

¹ В этой связи можно отметить, что, скажем, В. Спесивцев — в его инсценировке романа, в Театре-студии киноактера, «бесов» играют высокие мускулистые молодые люди «коммунарского» облика — не услышал хроникера, в результате чего спектакль, действительно, не поднимается выше памфлета на революцию. Достоевский видел большую ошибку Тургенева в том, что тот своего Базарова возвел «на пьедестал» (11; 72). Бакунин, Нечаев и их последователи очень стремились

«бесы», либо возникают бесовские настроения в обществе, либо бесовство овладевает кем-либо из центральных персонажей — Ставрогиним, Лизой. Скажем, при описании губернского общества, все более и более заражаемого «бесами», слово «смех» в речи хроникера встречается 16 раз на 12 страницах и даже 8—9 раз — на 2-х (10; 249—260). Любопытно тоже, что одна из сугубо отрицательных рецензий на роман «Бесы» — рецензия Д. Минаева в журнале «Дело» (1871, № 11) — была подписана: «L' homme qui rit» — «Человек, который смеется» (12; 259).

Для контраста тут можно отметить то, как вводит хроникер Марью Тимофеевну: «тихие, ласковые, серые глаза ее были и теперь еще замечательны»; резко контрастирует с бесовским хохотом отмеченная хроникером «тихая, спокойная радость» ее (10, 114). (Отмечу в скобках, что «скудоумный» вряд ли оказался бы способен увидеть в облике Марьи Тимофеевны именно это).

Возвращаясь к теме разоблачения «бесов», отмечу еще такую немаловажную функцию хроникера. Одним из преимуществ принципа хроники, пишущейся *после* всех событий, является сочетание двух временных планов — «тогда» и «теперь», и хроникер у Достоевского, как неоднократно отмечалось исследователями, постоянно перемещается по этой хронологической оси: то он повествует как бы с точки зрения очевидца событий, то — добавляет узнанное потом. Работает ли такое сочетание на разоблачение «бесов»? Безусловно, работает! Ведь один из главных приемов, использовавшихся всякого рода революционными «бесами», — это грандиозное мистификаторство, создание ложного представления о своей силе и успехах, — либо за счет прямого обмана, либо ценой миллионных жертв, тщательно скрывааемых. Так происходило, начиная от мифического Альянса, посланником которого выступал Нечаев, и до дутых цифр сталинской индустриализации и коллективизации, военных побед, приуроченных к «славным датам», результатов последних пятилеток, общест-

встать на пьедестал — и общественное мнение, увы, помогало им в этом. Разочаровавшись же, просто пытались вытащить пьедестал из-под них, оставляя нетронутым ореол «выдающихся личностей» — блестящее мишурное оперение, навешанное предшествующими поколениями. В то время как, если они и были «выдающимися», то — по подлинному, высокому нравственному счету — лишь выдающимися эгоистами (внешне, на бытовом уровне, будучи зачастую аскетами и даже альтруистами). Поэтому настоящее разоблачение революционных «вождей» еще не осуществлено.

ва развитого социализма, приближающегося к коммунизму, и т. п. Очень точное определение найдено здесь Р. Назировым: «нечаевщина — кровавая хлестаковщина» («Вопросы литературы», 1978, № 10, с. 239). Только *теперь*, узнавая по-маленьку правду о нашем прошлом, мы можем хотя бы приблизительно представить масштабы этого грандиозного обмана, реально оценить его. А если бы такая правда была вовремя доступна всем? Думаю, многое бы изменилось, если не все. Вот хроникер, пользуясь своим знанием, полученным *потом*, и разоблачает все попытки Петруши и «бесов» создать вокруг себя атмосферу тайного ужаса, создать свой культ (современенно подсказывая читателю, каким образом Петруша узнал ту или иную тайну или как была организована та или иная смута), а главное — раскрывает механизм такого мистификаторства, предупреждая читателя от будущих «верховенских».

Хроникер выполняет, таким образом, важнейшую (для Достоевского и, как мы теперь поняли, для нас) функцию разоблачения «кровавой хлестаковщины», трагедии — перерастающей затем в трагифарс — самозванства, изначально присущего всякому революционному движению. Изначально — потому что все инициаторы революции, затеявая насильственное изменение жизни, не ими на Земле устроенной, прерывая естественное эволюционное ее развитие, стремятся к тому, чтобы все окружающее (люди и природа) начало жить по родившемуся в их голове (или головах) плану. Часть — причем далеко не самая лучшая часть — мироздания стремится, таким образом, стать выше целого, пачать командовать и распоряжаться им (как если бы одна из молекул человеческого организма вознамерилась распоряжаться всем организмом). Это-то и есть корень, исток самозванства. А дальше происходит некий отрицательный, или обратный, естественный отбор. Идея изменить «несовершенный мир» могла приходить (и приходила) на протяжении истории человечества в самые разные, в том числе и весьма светлые головы. Но светлые — очень скоро понимают предел своей власти над жизнью и недопустимость нарушения общечеловеческих законов на пути к этой власти. Остаются те, для кого идея заслоняет все на свете, — а вслед за ними, подпавшими под власть идеи, идут одержимые идеей власти, те, кому уже гордыня и жажда личного самоутверждения позволяют с легкостью отмахивать все теоретические возражения и нравственные препоны. Таким образом, в роли «спасателей» и

«авангарда» человечества оказываются люди, морально и идейно несостоятельные, а они уже подбирают себе подчиненных по принципу: «вроде меня, но на голову ниже». Для поддержания же власти необходимо окружить себя мифическим ореолом, выдавая себя за мудрецов, провидцев, героев. Разрушение ореола есть, повторяю, необходимое условие разрушения власти «бесов».

Здесь, в «Бесах», проблема самозванства анализировалась прежде всего применительно к Ставрогину, отчасти к Петруше Верховенскому. И только в последнее время исследователи стали отмечать, что самозванцами — и даже в еще большей мере — являются и все остальные «бесы»: их личные помыслы, скрытые убеждения и желания, их поведение в быту вовсе не соответствуют тем революционным (или охранительным — как у Лембок, например) фразам, которые они произносят и тем революционным (или охранительным) идеалам, которые они якобы стремятся воплотить или утвердить¹. А показывает, разоблачает для нас истинную сущность «преобразователей» общества именно хроникер. В работе А. Туниманова говорится, по ходу исследования, о разрушении хроникером «аллегорий» старшего Верховенского и «таинственности» Петруши². Но здесь, как и в других работах (насколько мне известно), особо не выделена демистифицирующая, разоблачающая функция хроникера по отношению ко всем «бесам» (от Ставрогина и Верховенского-старшего до Липутина и Эркеля), установление правильного ракурса видения их — как основная его функция в романе и, тем самым, главное его дело для будущих поколений. Между тем именно это и делает его главным действующим лицом, по крайней мере сегодня, для нас³.

Ссылаясь на разговор с китайским коммунистом, Ю. Ф. Карякин высказывает убеждение, что «бесы», будь их воля,

¹ Щенников Г. Достоевский и русский реализм. Свердловск, изд-во Уральского ун-та, 1987. — СС. 279—280; Валагин А. Проблемы читательского и научно-критического осмысления романа Ф. М. Достоевского «Бесы», // Достоевский и современность. Тезисы выступлений на «Старорусских чтениях». — Новгород, 1989. — С. 22. Наиболее полно эта проблема исследуется в книге Л. Сараскиной. «Бесы»: роман-предупреждение.

² Исследования по поэтике и стилистике. — СС. 144, 153.

³ О том, что хроникер, проявляя свое отношение к происходящему, «заставляет читателя воспринимать события под известным углом», писал И. Груздев в статье «О приемах художественного повествования» («Записки Передвижного общедоступного театра», 1922, № 42, с. 1).

уничтожили бы хроникера¹. Но российская действительность уже прояснила этот вопрос. Победившие полвека спустя «бесы» в первую очередь постарались уничтожить хроникера. Всех настоящих, неподкупных хроникеров: Замятина, Булгакова, Платонова, Шаламова.

Не только типы «бесов» и манеру их поведения предугадывает хроникер Достоевского, но и в нескольких буквально строках дает сгущенный до сверхплотности конспект трагического содержания целых будущих десятилетий: «Во всякое переходное время подымается... сволочь, которая есть в каждом обществе... Эта сволочь, сама не зная того, почти всегда подпадает под команду той малой кучки «передовых», которые действуют с определенной целью, и та направляет весь этот сор куда ей угодно... А между тем дряннейшие людишки получили вдруг перевес, стали громко критиковать все священное, тогда как прежде и рта не могли раскрыть, а первейшие люди, до тех пор так благополучно державшие верх, стали вдруг их слушать, а сами молчать, а иные так позорнейшим образом подхихикивать» (10; 354).

В подготовительных материалах к роману содержится ряд четких указаний на то, что хроникер непременно должен разъяснять читателю ту или иную скрытую пружину действия Петруши, корректировать высказывания других персонажей и т. д., вплоть до важнейшего замечания: «Идеи рассказом от автора, а не сценами» (11; 220) (самоуказание, действительно, «капитальнейшее» для Достоевского, предпочитавшего всегда писать именно «сценами»). Затем Достоевский пошел на некоторое ограничение рассуждений хроникера, но это коснулось в основном прямых характеристик, даваемых им Ставрогину.

Однако под конец романа — так это было и с повествователем в «Преступлении и наказании» и в «Идиоте» — хроникер, казалось бы, прочно надевает «маску» провинциального обывателя, все чаще пересказывая «слухи», даже самые «дикие», вливаясь в согласный хор местного общества, которое «отдохнуло, оправилось, отгулялось, имеет собственное мнение и до того, что даже самого Петра Степановича иные считают чуть не за гения...». «Организация-с!» — го-

¹ Карякин Ю. Достоевский и капут XXI века. — СС. 206, 291.

ворят в клубе, подымая палец кверху. Впрочем, все это очень невинно, да и немногие говорят-то. Другие, напротив, не отрицают в нем остроты способностей, но при совершенном незнании действительности, при страшной отвлеченности, при уродливом и тупом развитии в одну сторону, с чрезвычайным происходящим от того «легкомыслием» (10; 512). Но — как и в «Преступлении и наказании» и «Идиоте» — это *кажущееся* устранение, чтобы не вставать в слишком уж прокурорскую, менторскую позу. Грозно звучит в том же абзаце невинное вроде замечание хроникера: «Повторяю, дело это еще не кончено» (10; 512) — и жутко перекликается с пророчеством Петруши: «Еще много тысяч предстоит Шатовых» (10; 463). Так и случилось, но Шатовых оказалось не тысячи, а миллионы...

В черновиках «Бесов» есть такая фраза: «Никогда человек общества не отдаст вам (революционерам. — К. С.) веры и семьи своей и не пойдет в острог, который вы предлагаете ему в вашей программе, и не продаст личную свободу свою в такую кабалу...» (11; 105). На самом же деле и отдал, и пошел, и продал (не о всех, конечно, так можно сказать — но о большинстве). Почему же так произошло? Почему, в частности, пророчества романа «Бесы» оказались неслышанными?

Несмотря на ярко выраженный предупреждающий тон хроникера, все же надо сказать, что ему не удается избавиться от недооценки Петруши и других «бесов». По подготовительным материалам прослеживаются колебания Достоевского при создании образа Верховенского: Базаров он или Хлестаков? только ли он энтузиаст и действительно ли он не имеет никакого представления о русской действительности? Его программа «основана на совершенном незнании народа русского» (11; 105), а потому за ним «пойдет только кучка легкомысленных людей и негодяев» (11; 104) — или все-таки «мошенников и дураков много будет, и беда может быть велика?» (11; 109). Это отразилось и в повествовании хроникера, ослабляя силу предупреждения.

Недооценено хроникером также глухое предупреждение, прозвучавшее в реплике Степана Трофимовича, обращенной к Петруше: «...Неужто ты себя... людям взамен Христа предложить желаешь?» (10; 171). А между тем история показала, что нестойкость религиозной веры в умах многих людей, ожидание скорых *земных* благ привели — ибо «потребность обожания есть неотъемлемое свойство человеческой приро-

ды» (как сказано в подготовительных тетрадах к «Бесам» — 11; 188) — к скорой подмене, к нерассуждающей вере в новые лозунги, заменившие прежние догматы, в *земных* вождей, ставших кумирами. Религия любви оказалась заменена религией ненависти к «чужим» к «врагам трудового народа» — религией ненависти, принесшей так много зла¹.

«Социализм — говорит Липутин — ведь это замена христианства, ведь это новое христианство, которое ведет обновить весь мир. Это совершенно то же христианство, только без Бога» (11, 301). Достоевский, однако, не включил эти две фразы (в которых, скажем, весь «Чевенгур» А. Платонова, да только ли он?), в окончательный текст романа. Почему? Видимо, потому, что он тогда уже начал понимать, намного опередив в этом понимании философскую и политическую мысль своего времени, неточность подобной формулы. Ведь христианство без Бога — это общество праведных людей, не ведающих о добре и зле (но тогда, как показано в «Сне смешного человека», их может развратить один — единственный грешник). А социализм — это сообщество грешных людей, надеющихся на то, что, оставаясь в обозримом будущем грешными людьми, они тем не менее могут устроиться жить по справедливости. На самом же деле, как я пытаюсь доказать в упомянутой уже книге, речь идет о возвращении к язычеству. Эта истина смутно мерцает в словах Петруши Верховенского, обращенных к Ставрогину: «Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам... Я люблю идола! Вы мой идол!» (10, 323, 325). Но хроникер в романе до такого понимания еще не поднимается.

Очень существенно также, что хроникер так и не смог понять и объяснить читателю, имела ли какой-либо успех пропаганда «бесов» среди шпигулинских рабочих. Дело это «до сих пор в точности не известно» (10; 335) — в растерянности пишет он, в конце концов приходя к выводу, что если и поняли что-нибудь из их пропаганды фабричные, то наверно тотчас же перестали и слушать, как о деле глупом и

¹ Не случайно реабилитация Нечаева в упомянутом выше сборнике «Революционное движение 1860-х годов», вышедшем в свет, напомним, в 1932 г., строилась так: критики Нечаева из среды революционеров оказывались, по мнению автора основной статьи сборника Б. П. Козьмина, неправы потому, что, являясь выходцами из дворянской среды, были далеки от народа и не обладали той надлежащей для революционера ненавистью к эксплуататорам, которая двигала Нечаевым и заставляла его любыми методами приближать революционный взрыв (при этом автор признает, что Нечаев ненавидел всех, но не любил абсолютно никого).

вовсе неподходящем» (10; 336), не более пятерых участвовали и в поджогах. Хроникер оставляет без внимания фразу из того же монолога Петруши перед Ставрогиным: «Ах, как жаль, что нет пролетариев! Но будут, будут, к этому идет...» (10; 324).

Эту близкую угрозу — появление класса людей, которым нечего терять, а приобрести они могут многое, и страшную опасность их появления именно в России — хроникер (полностью) и Достоевский (отчасти) недооценили. Не задумывается хроникер и о других опасных явлениях и процессах, которые облегчали победу «бесов» именно в России. Очень скоро выяснилось, как много правды было в рассуждениях Петруши: «Во всей Европе нет такой подготовленной почвы, как в России. Страшно много пустопорожних голов, в которые еще ничего не положено. Покажите им что-нибудь, и они сейчас же пойдут за вами» (11; 144). Или в такой фразе Шатова: «Бросились на социализм и жаждущие жизни духовной, и голодные» (11; 145). Ведь действительно: оторвавшись от традиционных идеалов, оказавшись в высохшей пустыне безверия, к «бесам» пошли многие объективно честные, духовно жаждущие молодые люди, создавшие движению тот идеальный жертвенный, героический ореол, который впоследствии во многом помог «бесам» незаметно повернуть стволы революционного оружия с эксплуататоров на эксплуатируемых, на народ. Но Достоевский все это оставил в черновиках.

Опять-таки: почему? Потому ли, что для него самого тут было еще много неясного (эти проблемы станут спустя несколько лет центральными в публицистике «Дневника писателя»)? Несомненно также, что Достоевский стремился создать достаточно узнаваемый, живой, достоверный образ, стремился к тому, чтобы читатели поверили в реальность хроникера — а выход на такую проблематику требовал бы личности совершенно иного типа. Но поскольку, повторяю, ракурс видения в романе определяет хроникер, он «задает весь тон романа»¹, то не будучи пропущены через него, эти важнейшие истины — о социалистической революции как возвращении к язычеству, о страшной действительности революционной пропаганды именно в России, о восполнении тоски по великой новой идее (обуявшей в конце XIX — начале XX веков значительное большинство «духовно голодных», ото-

¹ Карякин Ю. Достоевский и канун XXI века. — С. 246.

шедших от Церкви людей в русском народе) — восполнении этой тоски идеей *справедливого распределения земных благ* — все эти истины оказались читателями «Бесов» не услышаны. Не услышаны тогда, когда еще что-то можно было предотвратить.

Рассмотрим теперь другой аспект этой же интересующей нас проблемы — какие личные качества самого хроникера могли помешать читателям расслышать его вовремя и правильно?

Увы, хроникер, разоблачающий бесовство и предостерегающий от него, сам заражен им. Той его более скрытой и более опасной разновидностью, которая зовется завистью и из которой во многом проистекает остальное. Ведь основным мотивом, движущей силой всех социальных революций, считал Достоевский, является лозунг: «*Ote toi de la' que je m'y mette*» (Прочь с места, я стану вместо тебя) («Мечты о Европе», «Дневник писателя за 1876 г.») (22; 86) — и в этом-то заложена уже изначальная трагедия ее: добравшись до вожделенного «места», победители рано или поздно воссоздают свергавшуюся ими же систему социальных отношений, основанную на власти и подчинении.

И в данном случае зависть хроникера весьма характерна — ведь проявляется она преимущественно в отношении к Степану Трофимовичу и Ставрогину, — к тем единственным, на кого он смотрит снизу вверх (остальных мужских персонажей романа он ставит безусловно ниже себя).

Многие исследователи с удовольствием анализируют тонкую иронию, с помощью которой хроникер разоблачает ничтожность и пустоту Степана Трофимовича Верховенского. Некоторые, правда, отмечают «упоение» разоблачительства¹ «злую иронию... кипящий избыток язвительной насмешливости» хроникера (Вяч. Полонский)², но опять же — с положительным оттенком. Почему-то никто не задавался вопросом: а все ли, что сообщает хроникер о Степане Трофимовиче, мягко говоря, соответствует действительности? Если, как пишет хроникер, вокруг Степана Трофимовича не только «вихря», но и «обстоятельств» никаких никогда не было, если «в науке он сделал не так много и, кажется, совсем ничего», если поэма его ходила в списках всего лишь «между

¹ Чирков Н. О стиле Достоевского. — С. 55.

² Полонский Вяч. О литературе. — М.: Советский писатель, 1988. — С. 317.

двумя любителями и одним студентом» (10; 8, 9) — то почему же при новом общественном подъеме о нем сразу же вспомнили в Петербурге — пусть хотя бы и тамошние «бесы» — и даже сравнивали с Радищевым?

Практически ни одно появление Степана Трофимовича в повествовании хроникера не обходится без язвительных замечаний последнего, даже впечатляющая сцена предсмертного просветления его «дорогого друга». Хроникер практически отказывает Степану Трофимовичу в подобном просветлении: «...Я с большим удивлением узнал потом от Варвары Петровны, что нисколько не испугался смерти. Может быть, просто не поверил и продолжал считать свою болезнь пустяками» (10; 304).

В рассуждениях хроникера о Степане Трофимовиче я обратил внимание на одну из самых первых фраз: он, пишет хроникер, вел себя подобно Гулливеру, вернувшемуся из Лиллипутии — то есть продолжал смотреть на окружающих как на лиллипутов, в то время как они уже были одного с ним роста. Затаенная обида незаслуженной непризнанности слышится здесь; добавлю также, что исследовательница Е. К. Дрыжакова доказала недавно, что при обрисовке взаимоотношений хроникера и Степана Трофимовича Достоевский пользовался — в качестве своеобразных прототипов — историей взаимоотношений в парах Герцен — Чаадаев, Чаадаев — Пушкин, Герцен — Грановский...¹.

Но, конечно, центральное место в размышлениях и переживаниях хроникера занимает Ставрогин. Он пристально следит за Ставрогиным, пытается разгадать его (результатом долгих раздумий явились рассуждения о характере Ставрогина — в сравнении с Луниным, декабристами, Лермонтовым — которыми сопровождает хроникер рассказ о пощечине Шатова). Отношение хроникера к Ставрогину выразилось и в том портрете его, который дает хроникер и который выдает бесовство не только в натуре Ставрогина, но и в натуре самого хроникера, смотрящего на него явно недобрым взглядом: «волосы его были что-то уж очень черны, светлые глаза его что-то уж очень спокойны и ясны, цвет лица что-то уж очень нежен и бел, румянец что-то уж слишком ярк и чист, зубы как жемчужины, губы как коралло-

¹ Дрыжакова Е. Достоевский и Герцен (У истоков романа «Бесы») // Ф. М. Достоевский. Материалы и исследования, т. I. — Л.: Наука, 1974.

вые, — казалось бы, писанный красавец, а в то же время как будто и отвратителен» (10; 37). Так начинается рассказ хроникера о Ставрогине. Как он заканчивается, помнят, наверное, все («Гражданин кантона Ури висел тут же за дверцей») (10; 516). Но к самому описанию самоубийства Ставрогина хроникер переходит тоже весьма странным образом: подводя итоги своего повествования и рассказав об всех, даже самых второстепенных действующих лицах, он вдруг заявляет: «Право, не знаю, о ком бы еще упомянуть, чтобы не забыть кого. Маврикий Николаевич куда-то совсем уехал. Старуха Дроздова впала в детство... Впрочем, остается рассказать еще одну очень мрачную историю» (10; 512) — и далее сообщает о ставрогинском самоубийстве. И хотя тут повествователь выступает в упомянутой выше маске, все же и для такой его роли подобная «забывчивость» (вспомнил о Ставрогине только, когда не о ком уже было вспоминать) выглядит слишком деланной.

Выше я писал о том, что Ставрогин является своего рода двойником хроникера. Хроникеру тоже хотелось бы иметь власть над людьми, то влияние на них, которое имеют Ставрогин или хотя бы старший Верховенский. Власть Степана Трофимовича он уничтожает, как ему кажется, иронией, власть же Ставрогина пугает и одновременно неудержимо притягивает его своим демонизмом. Эта неудержимая тяга хроникера к Ставрогину и наделяет его тем даром ясновидения, происходящего со Ставрогиным, о котором я говорил. В отличие от всех остальных «бесов» хроникер впрямую почти не разоблачает Ставрогина — тот раскрывает свою адскую природу сам. Но ведь в передаче хроникера, в сценах, которые отобраны для нас хроникером — а он далеко не все из известного ему о Ставрогине нам рассказывает (так, из короткого замечания в начале романа мы узнаем, что между ними бывали и разговоры — 10; 40).

Можно сказать, что хроникер занимает некое срединное положение между Верховенским-старшим и Ставрогиным. Во взаимоотношениях хроникера с ними представлены две разновидности антагонизмов в революционно-бесовской среде. И в XIX веке, и в начале XX века в «общественном движении» было немало джентльменов, пришедших в революцию ради красивого жеста и благородных чувств, но верных вечным нормам нравственности (а потому, как правило, гибнувших при первых столкновениях с реальными плодами того, к чему и они приложили руку). Ставрогины же порож-

дали из себя революционное бесовство именно вследствие своего полного отпадения от традиционных нравственных норм, «эстетическому» оправданию насилия. У общественно активного выходца из разночинной среды (хроникер) первый тип возбуждал ревность — зависть — ненависть благодаря своему духовному превосходству (предсмертное просветление Степана Трофимовича хроникер хотел бы высмеять или вовсе не признать), а второй — вследствие своего метафизического обаяния (изведал бездны мрака и т. п.). Эти конфликты приводили к десяткам трагедий в русском освободительном движении.

Хроникер, безусловно, заражен бесовством тоже (вспомним еще, как часты в его речи слова «мерзавец» и «сволочь» — пусть и применительно к самим «бесам»; вспомним, что ведь и он, как и все остальные «бесы», все время куда-то торопится, суетится)¹. В своей давней работе о «Бесах» — «Русская трагедия» (1914) — С. Н. Булгаков пишет: «В том состоянии одержимости, в каком находится Ставрогин, он является как бы отдушиной из преисподней, через которую проходят адские испарения. Он есть не что иное, как орудие провокации зла»². Итак, если Ставрогин — посредник между преисподней и миром романа, то хроникер — на другом полюсе — является посредником между этим романским миром и читателем (в этом и заключается глубинная основа их двойничества). Но, увы, оба эти полюса одноприродны, преобразования зла «на входе» в добро «на выходе» не происходит. Ни любви, ни даже сочувствия ни к Ставрогину, ни к кому-либо другому из «одержимых» (за исключением может быть, Эркеля) у хроникера нет. Казалось бы, понятно — кому из них можно посочувствовать, уж не говоря о том, чтобы полюбить?! Но «бесовство» — абсолютное зло — побеждается в конечном итоге лишь абсолютным добром — всепрощающей любовью. Попытка противостоять «бесам» превосходящей их силой не только приводит лишь к умножению зла, но и помогает «бесам» приобрести сочувствие окружающих, народных масс.

Достоевский и в период работы над романом, и в публицистике часто обращался к евангельской истине: и бесы зна-

¹ Как показала Л. И. Сараскина («Страна для эксперимента» («Октябрь», 1990, № 3) на примере судьбы М. Горького, отнюдь не исключено превращение подобного хроникера из оппонента «бесов» в ревностного исполнителя их воли.

² Цитируется по: «Современная драматургия», 1989, № 5. — С. 217.

ют о Боге, но от этого знания они лишь «веруют и трепещут», потому что в них *нет любви*. И в этом тоже — великое предвидение Достоевского, одна из разгадок того, почему борьба с «бесами» не увенчалась успехом: с ними боролись их же оружием — ненавистью, тем самым невольно вступая в их ряды. А одолеть «бесов», повторяю, можно лишь любовью — ко всем, в том числе и к тем (и к ним-то даже в первую очередь), кого причисляешь к противникам своим — и высокой нравственностью. Если же исчезнет в людях любовь и нравственность, то единственно возможный — и даже наиболее гуманный: чтобы не долго мучиться — выход заключается в том (доказывает Шатову Ставрогин в подготовительных материалах), чтобы, как призывает Нечаев, «все сжечь» (11; 186). Чем «бесы» успешно и занимались многие годы.

Таким образом, если даже эпиграфы в романе принадлежат хроникеру, то собирательное название (вбирающее в себя и хроникера) — «Бесы» — безусловно, принадлежит автору. Прав был С. Н. Булгаков: роман «Бесы» — это «отрицательная мистерия», подлинно положительных героев, могущих послужить основанием надежды на будущее, здесь нет; «русский Христос — вот настоящий, хоть и незримый, непооявляющийся герой трагедии «Бесы», только он властен изгнать «бесов», силен исцелить бесноватого¹.

¹ «Современная драматургия», СС. 217, 219.